



ИРЕСИОНА

АШШИЧЕСКИЕ
— СКАЗКИ —

Ф. Ф. ЗЕЛИНСКОГО

III
СОЛОВЬИНЫЕ
ПЕСНИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
М. и С. САВАШНИКОВЫХ

Гуманитарному члену —
Библиотеке имени семьи Полюбова —
в честь Герцога — профессор ИГУ —

Вибань
Зорин.
6.11.04.

ИРЕСИОНА

82.3(0)

3-49

АТТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Ф. Ф. Зелинского

III

СОЛОВЬИНЫЕ ПЕСНИ



ПЕТЕРБУРГ

1921



ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦЕНТР
Г. ИРКУТСК

бр. (3)

✓
[Handwritten signature]

Обложка работы художника А. Н. Лео; иллюстрации, заставка,
инициалы и концовка рисованы художн. Н. А. Эрман
под руководством Ф. Ф. Зелинского

Отпечатано
в 15-й Государственной типографии
(б. Голике и Видьборг)
под наблюдением В. И. Анисимова

Р. В. Ц.

Отпечатано в количестве 4000 экз.





I

В малом перистиле дворца царя Эрехоея женской челяди прибывало все больше и больше: одна другой передавала важное известие, что фракийские гости, продавшие царю груз спроевого леса с Пангейских гор, получили разрешение показать и, если найдутся покупательницы, продать ткани и вышивки своих жен и дочерей. Узнала об этом и молодая няня маленького царевича, землячка продавцов, которую поэтому во дворце звали просто Фраттой.

Сердце в ней превожно забилося; она встала и, взяв ребенка за руку, направилась к перистилю.

— Куда ты? — угрюмо окликнула ее Евринома, другая няня, ходившая за младшей сестрой царевича, Креусой. Она была старше Фратты, но и помимо того, как гречанка, чувствовала себя неизмеримо выше ее.

— Вышивки сморепть... А ты не пойдешь?

Евринома только пожала плечами.

— Тоже нашла кого удивить — меня, ученицу покойной царицы Праксисеи. Выше ее только сама Паллада была — слава ей, градодержнице! Да, и ты бы

лучше не ходила — и то много путаешься с этими усачами в штанах.

Фратте в сущности было приятно, что Евринома с ней не пошла. Все не выпуская руки ребенка, она вошла в перистиль, где торговля была в полном разгаре. Споры, шуточки, смех; ключница Никострата старалась поддерживать благочиние, но порядок был уже не тот, что при покойной царице.

— Сколько тебе за эту накидку? — торговалась молодая рабыня.

— Пол-минны.

— Бери тридцать драхм.

— Разве если себя дашь в придачу.

Грубая шутка на ломаном греческом языке вызвала всеобщий смех. Пользуясь случаем, другой торговец шепнул вошедшей Фратте по-фракийски:

— Сегодня, к часу отпряжки быков! Поняла, Каракста?

— Поняла. А ты, Адосф, не обманешь?

— Не бойся. Только без мальчика не приходи.

— Уж, конечно, его не оставлю.

— Ну, смотри же. — А теперь, красавицы, — громко продолжал он по-гречески, — я покажу вам такой товар, какого вы еще не видали. Душу заложите, а увезти домой не дадите.

Много серебряных совушек перешло в тот вечер в мощны фракийцев; перешли бы, пожалуй, и все, если бы прощальные лучи с Эгалея не возвестили торгующимся о необходимости прервать разговор.

— Завтра придете? — спросила одна особенно ненасытная.

— Придем, красавицы, придем — отвечал усач. — Только совушек побольше приготовьте.

И они принялись укладывать в короба непроданный товар.

А там, в светлице, Евринома баюкала маленькую Креусу. Та плакала.

— Братца хочу! Где братец?

— Не плачь, моя сиротка, братец придет. — И она продолжала напевать свою песенку:

Будешь царскою женой
И царицной снохой.
Где ты ножкой ступишь — глядь,
Станут розы расцветать....

Но девочка все не хотела успокоиться, все плакала:

— Братца хочу! Где братец?





Няня, здесь так страшно кругом. Все вода и вода, и ничего кроме воды не видно.

— Помолись Нереидам, мой родной, и страх пройдет.

— А как им надо молиться?

— Подними ручки так, как ты всегда молишься.

— Так как я молюсь нашей заступнице, девице Палладе?

— Так, мой дорогой, только ручки к морю протяни. И говори: «Нереиды могучие, дайте нам счастливое плавание».

— Нереиды могучие, дайте нам счастливое плавание! — Няня, а где они, эти Нереиды?

— Там, дитя мое, в этих голубых волнах. Только мы их не видим.

— Нет, няня, я их вижу. Там вижу — и там — и там. Много, много Нереид. И такие красивые — совсем, как ты.

— Что ты, что ты, родной, нельзя меня, смертную, сравнивать с богинями: они обидятся.

— А они разве злые?

— Нет, они только на злых гневаятся, а с добрыми всегда добрые, и спасают их от бурь и утесов. И наш корабль давно бы погиб, если бы они не были добры к нам.

— Здесь, значит, все добрые?

Няня смолчала. Она подумала, что если бы то, что она сказала, было правдой, то их корабль давно бы лежал на дне морском.

— И тот дядя, который тебя давеча целовал, поже добрый?

Няня смолчала и покраснела.

— Няня, а куда мы едем?

— К твоей тете, мой прекрасный.

— К какой тете?

— Ты разве не слышал о твоей тете Прокне, сестре твоего отца? И о другой твоей тете Филомеле?

Лицо мальчика приняло вдруг испуганное выражение.

— Слышал, няня. Слышал, как сестрицыня няня о них говорила с Никостратой. Только она что-то нехорошее говорила, и Никострата заплакала. Няня скажи, как это было?

— А было то, что твоя тетя Прокна вышла замуж за Терейя, царя той страны, куда мы едем.

— А как он выглядел, этот Терей?

— Он выглядел, как этот дядя, который... который с нами едет.

— Он поже был в штанах? И с такими же усами, такими длинными и смешными?

Адосф как раз проходил мимо; услышав слова ребенка, он недовольно пряхнул головой и что-то сердито пробормотал на своем языке.

— И поже был такой сердитый?

— Нет, мой милый, но ты не смейся над этим дядей: он этого не любит.

— Ты мне про тетю Прокну рассказывай. Терей ее, значит, увез туда, далеко?

— Да, увез.

— А дальше что?

— А дальше — твоя тетя Прокна жила с ним счастливо, и родился у них маленький сыночек, Итий.

— Няня, а я и не знал, что у меня есть братец. Я думал, у меня только сестрица Креуса...

Ребенку вдруг взгрустнулось.

— Хочу к сестрице!.. где сестрица?

— Не грусти, родной, мы ведь к братцу едем. Ну вот, жила она, жила — твоя тетя, и взгрустнулось ей поже по сестре, вот как тебе теперь. И говорит она мужу: милый мой муж, привези мне мою сестрицу Филомелу. И поехал Терей опять к нам в Афины, и взял с собой твою тетю Филомелу и повез ее к себе...

— А дальше что?

— А дальше... дальше уже нехорошо. Он обидел твою тетю Филомелу. Ты этого теперь не поймешь, родной мой, а когда будешь большой — поймешь.

— Он был сердитый?

Адосф опять прошел мимо; при виде мальчика он сдвинул брови.

Такой же сердитый, как и этот дядя?

Адосф услышал эти слова, и больно дернул ребенка за ухо. Тот расплакался.

— Няня, как он смеет меня обижать!

Фрапта сказала обидчику несколько слов на своем языке, но он на нее прикрикнул. Тогда и она залилась слезами и беспомощно прижала ребенка к своей груди.

— Что я сделала, боги, что я сделала!





Смолистый аромат сосновой рощи, растворенный в зное весеннего дня, тихо расплывался в вечернем ветерке. Солнце спускалось на синий хребет Пангейских гор, освещая своими косыми лучами исполинский деревянный кумир дикой богини, потрясавшей двумя копьями и упиравшейся правым коленом в спину поверженной лани. Под ним сидел не менее дикого вида мужчина в волчьей шапке, из которой грозно торчала пара рогов; он обращался с короткими, отрывистыми речами к кучке других мужчин, среди которых был и Адосф. Поодаль молча сидела Фрапта с ребенком.

Ребенок сначала с любопытством присматривался то к кумиру дикой богини, то к диким людям. Что они делают? У рогатого лежали на коленях какие-то деревянные палочки; после ответов Адосфа он то и дело брал в руки ту или другую из них и делал на ней какие-то зазубрины. Свою работу он обильно запивал вином, в чем ему, впрочем, подражали и все остальные мужчины. Положительно, это становилось скучным.

Чу... что это зазвучало в кустах? Пение соловья. Совсем, как в Афинах, в Колонской роще. Но только гораздо ближе; он ясно различает и самую певицу. Она порхает с ветки на ветку и смотрит на него так дружелюбно своими умными глазками. Так бы, казалось, и схватил ее. Нет, в руки она не дается, но и не отлетает далеко, и все поет, все поет, так

сладко, так ласково. Эх, птишка божья, понятъ бы, что ты мне хочешь сказать!

Вот вспорхнула на верхнюю веточку и точно кого то зовет. И подлинно, кто-то прилетает. Такой смешной. Бурый, с чернобелыми крыльями и огромным хохолком. Прилетел и говорит: «Уд — уд! уд — уд!». Это значит, вероятно, «я здесь; что прикажешь? И видно, певичка ему что-то приказала: «удод» опять улетел. И опять раздается на всю рощу соловьиная песнь — ласковая, сладкая — и такая жалобная, такая жалобная. Так бы и заплакал.

Чу... какой то клекот доносится с высоты, пара огромных крыльев заслонила солнце. Знаю: это, — коршун: мы с отцом видели такого на Ликабетте. Милая, спасайся! Но нет, она и не думает спастись. Коршун, спустившись, уселся на верхушке сосны и оттуда смотрит на ребенка; спрашно! Но соловей заливается пуще прежнего, и его песня разгоняет страх.

— Киккабау! Киккабау!

А, знаю: это старая подруга с Акрополя, наша милая сова, птица Афины. Теперь уже совсем не страшно. Вот она сидит на нижнем толстом суку сосны. Сидит, смотрит и точно улыбается своим круглым лицом. И даже та пичужка ее не боится: прыгнула ей прямо на голову и стала чистить свой клюв об ее перья. Это значит, вероятно: здравствуй!

Эх, помешали! А впрочем, это недурно: принеси ковш молока и ломоть хлеба. И то я проголодался; а крошками хлеба я всетаки пичужку накормлю. На, родная! Что это? Приметила, но крошек не берет и только головкой качает. Видно, вкуса в них не находит. А это что? Целая стая зябликов, два, три, много. И вдруг крошек не стало: все расклевали. Какие они здесь, однако, ласковые!

— Уд-уд! Уд-уд!

А, опять пожаловал, старый знакомый. И какую ораву с собой привел: сороки, сойки, дятлы, дрозды, варакушки, синицы. Но всех бойчее ласточка: прилетела, села на руку, головкой кланяется и все чирикает. И рад бы понять, родная, да не могу...

Вся роща наполнилась птицами; оповсюду слетаются, как на вече. На каждой ветке по нескольку: шумят, галдят, поют, каждая на свой лад.

... Но внезапно другой шум прервал мечты мальчика. Адосф кончил свой отчет и высыпал из своего меха груду серебряных тетрадрахм. Рогатый их сосчитал — видно, он был доволен.

— А теперь, — заключил Адосф, — получай и придачу. После выручки — добыча. Добыча первая — вот эта женщина. Добыча вторая — мальчик, элин. Мал, да здоров; вырастет — хорошим рабом будет.

— Веди их сюда, — сказал рогатый.

— Ну, Каракста, иди к царю.

Та, вскочив, смотрела на него большими испуганными глазами.

— Что ты! Опомнись! Собственную жену в рабство отдашь?

— Какая ты мне жена! Еще недоставало, чтобы я элинскую рабу себе в жены брал!

— Адосф! Да ты же мне клялся, что я буду тебе женой, и что этот ребенок будет нам вместо сына!

— А тебе, дуре, кто велел верить?

— Изменник! Клятвопреступник! Да накажет тебя эта богиня, наша могучая Бендида.

— А ты? Своим господам изменила, а от чужого верности ждешь? Живо, иди к царю!

Заголосила несчастная женщина:

— Что я сделала, боги! Что я сделала!

И, схватив ребенка на руки, как безумная умчалась из рощи, прямо в мглу надвинувшегося вечера. Фракийцы бросились их догонять, но их ноги им туго по-

виновались — уж слишком много глотнули они исма-
рийского вина — и они стали отставать. Успешнее
была воздушная погоня — все птицы мчались за бег-
ляжкой — но она не была страшна.

Все дальше и дальше, по дикому склону Пангея.

Вдруг Фратта вскрикнула и выронила ребенка:
земли не стало под ее ногами, она полетела в про-
пасть. Еще крик с самого дна оврага, и затем — гро-
бовое молчание.





IV

Но ребенок за ней туда не последовал. Падая, он тотчас же почувствовал под собой что то мягкое, теплое, пушистое. Он ухватился ручками за это нечто — и сразу понял, что обнимает шею коршуна.

Коршун тяжело взмахнул своими крыльями и вскоре плавно спустился со своей ношей в другой части оврага; мальчик спал на ноги.

Кругом была темнота. Над собою он различал крупную смену; над ней — небо, усеянное звездами. Перед собой — кусты и деревья.

— Няня! Няня!

Все молчало. Не получая ответа, он расплакался.

— Киккабау! Киккабау!

Он стряхнул слезы: слава богам, он не один. Старая акропольская пестунья тоже здесь. Зов повторился. Он пошел по его направлению; странно, он раздается точно из недр скалы. А, вот оно что: в скале пещера, а из ее глубины приветливо светятся два огонька. Это — его хозяйка, добрая птица Паллады.

Он пошел в пещеру. Сухо, тепло, душисто, точно чья то забота нарочно принесла тимьяну с верхних склонов Пангея. Почва каменная — а вот внезапно что то мягкое. Он нащупал рукой — подстилка из сухих листьев, покрытая нежным птичьим пухом. Точно кто то постельку для него приготовил.

Он лег и тотчас заснул. Сова прилетела и покрыла его своими широкими крыльями.

Так прошла ночь.

Когда солнце следующего дня заглянуло в пещеру, оно увидело странную картину: над спящим ребенком сидела, точно наседка, сова, не двигаясь с места. Но вместе с солнцем влетела в пещеру и вчерашняя певичка и тотчас весело зачирикала.

— Ты все еще здесь, Никтимена? Спасибо, что согрела моего мальчика!

— Есть за что, землячка: и то сказать, из-за него ночную охоту пропустила, придется итти спать с пустым желудком. Ну, один раз можно, а на следующую ночь, пожалуйста, чтонибудь другое придумай.

— Уже придумала. Поручила сойке и кобчику снять шерстяную хлену с этой несчастной — она теперь сохнет на мураве, а потом мы ее дадим ребенку вместо одеяла.

— Сохнет?

— Да. Она ведь прямо в ручей упала, и он ее уже наполовину песком занес. Оно и лучше так: не надо могилу рыть.

— А как ты его накормишь?

— Тоже придумала. Дедушка Гип — тот, что его вчера спас, — обещал принести мне из фракийской деревни доенку с козьем молоком. А за хлебом послал сорок — они, ведь, воровать мастерицы. Да вот и они.

Действительно в пещеру влетели три сороки, каждая с баранкой вокруг шеи. Тотчас поднялась прескопня: «здравствуй, Прокна», «здравствуй, Прокна», «а где твой муж?» и т. д. Ребенок поднял голову и стал проширять глаза.

— Ну вот проснулся, — сказала сова — и мне можно на покой после голодной ночи. А у меня уже давно глаза слипаются; совсем, как у нас в Аттике говорят, осовела. Пожелайте мне покойного дня, мои детки.

И она забила в самый темный угол пещеры.

— А где твой муж? — не унимались сороки.

— Это, подруги, тайна.

— Мы никому не скажем.

— Так я вам и поверила. Нет, вы мне лучше вот что скажите: где вы оставили старого Гипа?

— С нами летел, да отспал: тяжело ему с добычей в когтях. А ты все таки насчет мужа...

— За правкой его послала, а за какой — не скажу, как бы вы ни просили. Немезида не велик. А, Гип, добро пожаловать. Да ты, я вижу, и себя не забыл: в когтях доенка, а в клюве, кажется, курица?

— Надо же было и о Никтимене подумать, — ответил Гип, бережно поставив доенку на пол и взяв курицу в когти. — Эй, тетка! Погоди спать, поделим сначала добычу.

Из глубины пещеры послышалось одобрителное «кikkaбау», и коршун исчез.

Ребенок все еще лежал в полусне, протирая глаза.

— Уд-уд!-Уд-уд!

— А вот и ты, Терей. Как раз во время. Вижу, ты правку нашел?

— Нашел, жена. Весь Пангей облел. Всех змей созвал — не знают. Да все ли здесь, спрашиваю? Нет, говорят, самой старой гадюки нет: тело одряхло, не извивается. А вы, говорю, ее приволоките.

— Погоди рассказывать. Спасибо вам, милые, оставьте здесь свои баранки и летите к кукушке. Прокна, мол, велела кланяться и рассказать про горихвостку, что она высидела какого то подозрительного птенчика: ни в мать, ни в отца...

Сороки стремглав бросились из пещеры.

— Ну, теперь продолжай.

— Так вот, говорю, приволоките. Отправились два молодых ужа, обвязали свои хвосты узлом вокруг старухи и притащили ее. Обращаюсь к ней. Да, говорит, одна такая правка еще осталась в самом глубоком ущелье Пангея; да как мне туда доползти? К счастью, поблизости оказался филин; обвил он себе

гадюку вокруг шеи, а сам глазищами, что фонарями освещает дорогу. Искали, искали и нашли.

— И прекрасно.

Она взяла травку в клюв, подлетела к полусонному ребенку и, повисши над его раскрытыми устами, стала сжимать ее так, чтобы ее сок стекал ему в рот. Выжав три капли, она отлетела в сторону.

Мальчик проснулся окончательно.





V

Здравствуй, племянничек. Хорошо спал?

Мальчик вскочил на ноги и оглянулся кругом.

— Кто говорит? Няня, ты?

— Нет, родной: няни нет больше у тебя. А говорит с тобой твоя тетя Прокна, к которой ты ехал в гости, когда ты женщина, а теперь птица-соловей. Я и вчера говорила с тобой, только ты не понимал меня, а сегодня я сделала так, что будешь понимать и меня, и всех других птиц. Но прежде всего позавтракай молоком и хлебом.

Удивление у мальчика быстро прошло, и заговорил голод. Утолив его основательно, он стал опять искать глазами свою собеседницу.

— Тетя!

— Что, мой милый?

— А что мы теперь будем делать?

— Гулять пойдем. Хочу тебе показать мое царство. Ты ведь слышал, надеюсь: я — царица этих мест.

Мальчик вышел из пещеры; птичка, перелетая с куста на куст, со скалы на скалу, показывала ему путь. Долина, в которую его перенес Гип, только с одной стороны была ограждена от прочего мира отвесной стеной скалы; по другую сторону ручья тянулись оплогие склоны, отчасти поросшие лесом, отчасти покрытые зеленою травой. Туда и повела мальчика его проводница. Он обо всем ее спрашивал — о каждой птичке, о каждом цветочке, и на все получал от нее ответы. Уставши от прогулки, он прилег под кустом; птичка порхнула на одну из его ве-

ток, прямо над его головкой, и затянула свою обычную песню.

Теперь он понимал эту песню — это была жалоба по погибшем в младенчестве Ипии, погибшем от материнской руки. Спало ему грустно...

— Тетя, как же это могло случиться? — Спросил он, когда она кончила свою песню.

— В пылу страсти, мой милый.

— В пылу чего?

— В пылу страсти. Ты не знаешь, что такое — страсть?

— Нет, тетя, не знаю. Ты мне объясни.

— Ну вот, послушай. Тебе говорили, что я стала женой Терее, царя фракийского.

— Говорили.

— Теперь пойми. Я страстно любила свою сестру твою другую тетю, Филомелу — любила так, что без нее жить не могла.

— Это и есть страсть?

— Да, мой милый, это и есть страсть — одна из многих страстей.

— Тетя, и у меня есть сестрица Креуса, и я ее очень люблю. Ты мне напомнила о ней, и мне грустно спало.

— Это, дружок, еще не страсть, а ровная братская любовь. Я же без Филомелы жить не могла. И говорю я мужу: дорогой мой, привези мне из Афин мою сестру.

— И он ее привез?

— Привез — но шут и случился грех. Он и сам полюбил ее.

— Страстно?

— Да, страстно.

— Это было нехорошо?

— Очень было нехорошо. Припомни: у твоего отца жена была?

— Конечно, моя мама.

— А другую женщину он любил так, чтобы сделать ее своей женой, рядом с твоей мамой?

— Нет.

— Ну, видишь; а мой муж именно так полюбил мою сестру. А так как она не хотела, то он ее...

— Обидел?

— Да, страшно обидел — так страшно, что я тебе и рассказать не могу.

— Отчего же он это сделал?

— Под влиянием гнева, мой милый. Вот видишь: гнев — это тоже страсть.

— А дальше что?

— Узнала я об этом. И тут со мной случилось что то страшное. Я захотела ему отомстить за сестру — отомстить так, как еще никто не мстил. Убить его — этого было мало. Нужно было другое, еще более ужасное.

Мальчик недоумевающим взором смотрел на рассказчицу. Ему вспомнилась одна поварка няни, которой он всегда боялся; она вдруг исчезла, и ему сказали что она человека убила. Такова, значит, думал он была и она тогда.

— Ты этого не поймешь, мой дружок, но верь мне: из всех страстей жажда мести — самая страшная. И всетаки я бы не сделала того, что сделала, если бы не еще одно...

— А что же ты сделала?

Прокна медленно и с расстановкой ответила:

— Я убила нашего маленького сына, Ишия.

— А!

— Из жажды мести, конечно; но тут было еще нечто. Ты этого подавно не поймешь, ты ведь еще маленький. Но скажи мне, тебе говорили, кто такое Дионис?

— Говорили: он научил нашего земляка Икария делать вино, а Икарий научил других. Это было еще при

моем деде, твоем опце Пандионе. И с тех пор мы справляем ему ежегодные праздники, сельские Дионисии, Ленеи, Анфестерии. Это бывает очень весело.

— Это еще не все. Говорили тебе, что такое таинства Диониса, его ночные оргии на горах? Впрочем, к чему я спрашиваю, у вас их еще не знают. Ну, а здесь во Фракии давно знают и справляют. Так вот, постарайся меня понять: в этих оргиях человек приходит в исступление, все тогда ему кажется огромным. В такое исступление пришли и я, и моя сестра, и вместе мы тогда убили Ития.

— А он что — твой муж?

— Бросился на нас с мечом в руке. Но богижалились над нами. Я хотела бежать — и вдруг почувствовала, что я лечу и становлюсь совсем, совсем маленькой. Оглядываюсь и вижу, что и с ними происходит тоже самое. И с тех пор я — соловей, Филомела — ласточка, а Терей — удад.

— Слава великим богам!... Но объясни ты мне одно. Я видел тебя вместе с твоим мужем — и вы перекинулись между собою, и никакой вражды между вами не было. Этого я не понимаю.

— Это потому, мой друг, что, превратясь в птиц, мы спустились ниже страстей.

— Ниже страстей?

— Да. Вот ты слышал, как я в песне оплакивала моего Ития, которого я сама убила; да, я грущу о нем, и эта грусть никогда меня не покинет. Но грусть — это не отчаяние, не страсть; грустить и мы, птицы, можем, но отчаиваться — нет. То же и с гневом: какой у птицы гнев? Ощепинит перышки — а в следующую минуту и забыла. Нет, настоящие страсти только у вас бывают, у людей.

— Как ты это странно сказала: ниже страстей. И скажи, ты счастливее с тех пор, как ты так живешь?

— Да, мой родной, много счастливее. И я много раз думала: если бы боги сотворили еще одно чудо, если бы они воскресили моего Ипия, я бы и его душу постаралась удержать ниже страстей. И вот боги сотворили это чудо — они подарили мне тебя, сына моего брата, тебя, сироту. Теперь ты будешь мне вместо сына, а я заменю тебе твою умершую мать. Я хочу, чтобы ты был совсем счастлив — а для этого надо, чтобы и ты, подобно нам, слился с нашей общей матерью — Землей и жил по ее законам. И это будет, будет.



Она опять запела. Но теперь ее песня была уже новая: это был торжественный гимн в честь общей матери-Земли. Они росли, эти прели, все сильнее, все могучее. Наполняли собою всю рощу, будили ее, увлекали. И роща откликнулась на зов своей царицы; все пташки, все деревья ей встали; это была уже не роща, а какая-то волшебная исполинская лира, игравшая вечную песнь про всеобщую мать, кормилицу Землю. Мальчик стоял, как очарованный: ему казалось, что раздвинулись тучи, венчавшие вершину Пангея, что он видит за ними блаженный сонм олимпийских богов. И они слышат звуки лиры матери-Земли — и, отвечая им, Аполлон берет свою, наигрывает на ней другую песнь, песнь беспредельного неба, и эти две песни, сливаясь, уносят на своих крыльях его душу в голубую, заоблачную даль.



VI

Прокна исполнила свое обещание. Она не покидала мальчика ни на минуту: днем водила его повсюду, все ему показывала, объясняла, а ночью, прежде чем заснуть сама на ветке перед пещерой, убаюкивала его колыбельной песнью. Об его пропитании и безопасности заботились Гип с Никтименой. Особенно действительна была помощь первого. Он безжалостно грабил в пользу своего питомца фракийское селение и в особенности двор нечестивого Адосфа, в чем ему, впрочем, деятельно помогали подвластные ему сороки. А Никтимена наводила грозу на всякую пварь, которая вздумала бы приблизиться к пещере мальчика.

Все более и более сливался он душою с детьми великой Матери. Понимая голоса всех, он стал учиться им отвечать на их языке, и они стали понимать его; поневоле проникся он вследствие этого и их заботами, всем тем, что составляло сущность их легкой жизни. Мало по малу все воспоминания об его далекой родине изгладились из его ума: сохраняя свой человеческий вид, он своими мыслями и чувствами и сам стал птицею среди птиц — самой маленькой и несведущей среди всех.

Прошло лето, пахнуло осенью — Прокна почувствовала обычную осеннюю тоску. Она знала, что эта тоска, нарастая изо дня в день, заставит ее, наконец, сорваться с насиженного места и улететь надолго в беснежные края. И ей вдвойне тоскливо ста-

новилося при мысли, что́ станется в ее отсутствие с ее пипомцем. «И как это я не подумала об этом ранее», — говорила она себе, не находя никакого исхода из беды. Но, пока она тщетно ломала себе голову и советовалась с Гипом и Никтименой, другая Мать, гораздо более мудрая и предусмотрительная, приняла сама все нужные меры. После осеннего равноденствия мальчик спал как то сонлив, просыпал восход солнца и ложился спать до его заката, мало прикасался к приносимой ему Гипом пище и почти не отвечал на вопросы Прокны; а после того вечера, когда Плеяды погрузились в море, он уже не выходил из пещеры. Прокна сначала испугалась, не умер ли он; но не, склонившись к его устам, она убедилась, что его сердце едва слышно бьется под его хитоном, и ее перья слегка чувствуют его дыхание. «Заснул зимним сном!» — сказала она себе. Она созвала всех знакомых птиц и велела им нащипать у себя столько пуху, чтобы над мальчиком образовалась целая горка. Никтимена покрыла его сверху одеялом, а журавли натаскали камней, чтобы прикрепить одеяло к почве. После этого Гип с друзьями загроздили вход в пещеру буреломом, оставив только небольшое отверстие для Никтимены. Прокна спела своему сонному сыночку прощальную песню и затем отправилась в путь.

Настала зима, бурная и снежная. Плотной белой пеной заградила она вход в пещеру — а в пещере мирно дремал маленький афинский гость на теплом лоне матери-Земли, под теплым покровом, сотканным ее детьми.

И когда с наступлением весны стена распаяла, когда роща опять зазеленела — Прокна вернулась и разбудила своего любимца призывною песнью. Не сразу стряхнул он с себя зимнюю спячку, не сразу мог он даже покинуть свое мягкое ложе; а когда это ему удалось — прошло еще несколько дней, пока он не дал

себе отчета в том, кто он и что он, пока он не связал эту весну с минувшей осенью. Но мало по малу жизнь полностью вступила в свои права — жизнь в природе и с природой, легкая, беззаботная и бесстрастная.

Опять весна, лето, осень, опять зима с ее сном; и так год за годом. Мальчик подрос; Прокна с Гипом и Никтименой решили, что пора ему и самому о себе заботиться. И вот в одно утро Гип прилетел с ягненком в когтях, которого он похитил из Адосфова стада; за ним последовал второй, третий, несколько. Научили отрока ходить за ними; хлев был им устроен в соседней пещере, так как Никтимена объявила, что в своей она грязи не потерпит. Отрок стал пастухом.

К земле он привязывался все более и более. Все изменения в направлении и силе ветра, в теплоте и влажности воздуха им ощущались уже непосредственно; он мог, не прибегая к указаниям птиц, предчувствовать завтрашнюю погоду. Ему казалось даже, что его душа как бы растворяется в окружающей природе, что он участвует в радости и горе каждого дерева, каждой птицы. Он понял, почему она вся счастлива, даже когда отдельные ее особи страдают. Да, мышенку больно, когда Никтимена его пожирает; но ведь мышенок — лишь частица природы, а природа сознает себя не только в таких частицах, но и в более цельных частях, и прежде всего — в своей совокупности, как великая мать-Земля. Люди этого не знают, подумал он, они применяют к нам свою мерку, мерку особей, и полагают, что и у нас есть несчастные и даже что несчастных больше, чем счастливых. Но это не так: мы все счастливы, потому что мы все — одно.

У него ли явились эти мысли, или Прокна их ему подсказала? этого он и сам не мог бы определить. Он так слился с ней воедино, что ему казалось, будто

их разговор состоит в том, что они вместе поют один и тот же напев. И он был вдвойне счастлив от этого сознания.

Убедившись в этом, Прокна решила, что наступило время предложить отроку последнее испытание. Она начала с того, что велела ему разрыть землю под корнями одного дуба. Отрок исполнил ее требование и нашел глиняную кубышку, а в ней — кожаный мешочек с золотыми монетами восточного чекана. «Привяжи его к поясу», — сказала она ему, — «он тебе пригодится среди людей». Затем она ему рассказала последние вести из Аттики — что царь Эрефей, его отец, состарился и не сегодня-завтра умрет, что его самого считают погибшим, что народ видит свою будущую царицу в его сестре Креусе. «Если хочешь», — заключила она, — «можешь вернуться в Афины и предъявить свои права. Я проведу тебя к гавани Девяти-Путям; отсюда каждый день отходят корабли в Грецию — найдешь и афинский. За одну из твоих золотых монет любой судовщик тебя примет. Хочешь?»

Отрок лишь с половинным участием прослушал ее рассказ об его родине, то и дело прерывая его, чтобы позвать обратно зашедшую слишком далеко овечку. Ее последний вопрос заставил его спокойно, но решительно покачать головой.

— Да здравствует моя прекрасная сестра Креуса, будущая великая царица богозданных Афин! Ей — дом Эрефея, а мне — ты, и Никтемена, и Гип, и все и всё.

Радостно затрепетало сердце у Прокны! Да, подумала она, теперь ты — мой и только мой.

Она тогда еще не знала, что она ошибается. И сам отрок этого не знал.

Но все же он с каждым годом сильнее чувствовал, что у него где-то, в затененной глубине души, пробуждается нечто неразтворенное и неразтворимое — и именно весной присутствие этого нового начала

ощущалось с особой силой. Что это было — этого он и сам определить не мог. Какая то смутная тоска, стремление, истома. Теплый, влажный южный вечер наполнял его грудь живительной силой, но вместе с тем он ему как будто что то сулил — что то неопределенное, но сладкое и несбыточное. И он плакал тогда — и сам не знал, почему плакал.

Раз ему приснился странный сон. В этот день южный вечер дул с какой-то особенной душистой лаской, и опрок весь находился во власти своих неопределенных мечтаний. И во сне он, никогда не думавший о своей родине, увидел себя в своем опчем доме, увидел явственно одно маленькое событие из своего детства, которое совсем, казалось, исчезло из его памяти. Дом был полон гостей; к его матери, Праксидее, приехала родственница, жена некоего Метиона, и привезла с собой свою дочку, его ровесницу, которую звали по созвучию с именем отца — Метионой. Обе матери очень гордились своими детьми — у той дочка была единственной среди многих сыновей, также как у Праксидеи сынок — единственным среди многих дочерей. И вот, шутя, она их переодели: царевич весь день щеголял в платье Метионы, а она в его хитончике. И теперь, во сне, ему казалось, что он чувствует в этом переодевании неопишное блаженство.

Он проснулся с именем Метионы на устах. «Расскажи мне про Метиону», — попросил он Прокну. Она удивилась; тогда он ей сказал про свой сон. «Про Метиону», — сказала она, — «я знаю только то, что ей нынче вместе с Креусой предстоит быть кошеносицей на празднике Паллады, и что люди много спорят, которая из них красивее. Но отец ее Метион причиняет своему отцу много забот и горя; он — во главе недовольных и открыто говорит, что после смерти царя престол должен перейти к нему и к его сыновьям».

Отрок безучастно выслушал последние слова Прокны и только про себя повторил: «Мепиона». Теперь вся сладость его мечтаний и чаяний сосредоточилась для него в этом имени; он вдыхал его вместе с душистой влагой южного ветра. Но это было только имя, никакого определенного представления он с ним не соединял. Правда, он не раз спрашивал себя, как выглядит эта Мепиона; он попробовал было ответить себе «так же как и моя няня», но тотчас с возмущением отверг эту мысль. Нет, он только чувствовал Мепиону, но не представлял себе ее.

Он начертил ее имя на коре развесистого дуба — Прокна научила его писать, показав ему буквы на аттической амфоре с маслинами, похищенной Гипом из хозяйства Адосфа. Это имя он украсил цветами и возлил ему овечьим молоком в дни новолуния. И самую томную, и сладкую из песен Прокны он прозвал «песнью о Мепионе». Она ему, часто пела ее и он задумчиво смотрел вдаль, вдыхая теплую, душистую влагу южного ветра.

Так прошло еще три года. Отрок стал юношей.





VII

И опять запахло весной. Прокна, прилепев из далеких стран, запела над своим пипомцем свою обычную приветственную песню, но ей не удалось разбудить его. Это был какой-то особенный, сковывающий сон, грудь его бурно вздымалась — знать, видения, одно другого беспокойнее, беспрестанно чередовались перед очами его души.

Ночью он проснулся сам.

Какая-то странная жизнь кипела по всей горе. Ветер со свистом мчался по роще, повсюду ломая сухие, а иногда и живые ветви. Волки, спугнутые со своих логовищ, то и дело выбегали из чащи, ночные птицы, забыв об охоте, летали туда и сюда. Все они видимо были одержимы одним и тем же чувством — все чего-то искали — и вдруг, точно найдя искомое, все помчались по направлению ветра в гору. Юноша, движимый тем же чувством, побежал вместе с ними. Вскоре он понял, почему он бежит именно туда: через свист ветра стал пробиваться звон лиры. Было что-то неудержимо зовущее в этих звуках: раз их услышав, нельзя уже было ни о чем другом думать, ничего другого чувствовать. Чем дальше, тем численнее становилась толпа: все звери Пангея покрывали землю, все птицы осеняли ее, затемняя свет молодой луны. В гору, в гору! Все в гору! Что это? Даже деревья не могут устоять — даже они как будто сорвались со своих корней и неслышно скользят по зеленому ковру. Вот уже верхняя поляна; сколько тут народу! Всякого народу — мужчины, женщины, у

кого в руках дымящийся факел, у кого — кедровая ветвь с шишкой в виде наконечника. А там, на скале стоит волшебник с лирой в руке. Вот он запел; тут уж и о лире забудешь...

«Внимайте все! Просвещайся, народ! Далеко от нас те, чья душа мертва, чье сердце не бьется при звуках моей лиры. Пусть уходят отсель: не спасенные, а смерть обретут они в песне моей».

Плач раздался в толпе; сонная-другая мужчин и женщин отделилась от нее и с поникшей головой пошла под гору. Но юноша оспался: он чувствовал, его сердце радостно трепетало в ожидании грядущих чудес.

«Внимайте все! Смысл жизни вашей услышите в песне моей.

«Видите вы его? Я его вижу. О пайна искупительного брака — брака небесного царя и царицы подземного мира. Видите вы его? Я его вижу — опрока испупителя, красу над красами, первожданного Диониса».

— Видим, видим! ответила толпа. Благо ему! Эвоэ, Дионис!

«Гряди, прекрасный! Гряди, непорочный! Ты пришь мир, оскверненный насильем отца и предков, и в твоих руках он возродится в чистоте и правде, и все возродится вместе с ним».

— Гряди прекрасный! Гряди непорочный! Эвоэ, Дионис!

«Видите вы их? Я их вижу. О злоба запертой мести! Для того ли, Титаны, с вас сняли оковы, чтобы вы подняли свои кровавые руки на него, прекрасного, на него, непорочного? Горе! Горе! Медь у них в руках, но не мечи, не копья — медь гладкая, медь блестящая. Не кровь она почит, а образ, образ высасывает у него, прекрасного, у него, непорочного. Не цел он более, первожденный Дионис; в двенадцати образах преломилась его сила. Беги, мой

возлюбленный! Воссоединись, чтобы, воссоединенный,
и нас возродить!

— Горе! горе! Беги, беги, первожденный Дионис!

«Видите вы его? Я более его не вижу. Он расперзан, поглощен, двенадцатью телами поглощена его плоть. Нет более искупителя, нет возродителя — Титаны поглощают первожденного Диониса!

— Горе! горе! Нет искупителя, нет возродителя!

«Видите? Я вижу! Что-то красное лежит, предпещет — это последняя надежда на возрождение, это сердце первожденного Диониса. Спаси его, Паллада! Отнеси его своему небесному отцу: пусть он обратно примет в себя то, что выделил тогда».

— Спаси, Паллада! Спаси Диониса!

«О тайна возрождающего брака — брака небесного царя и фиванской царевны. Грянула молния, — в огне брачный терем. Испепелил он смертную плоть матери — не пужайте, люди! Уцелел божественный плод, возвращен нам наш спаситель, сын Семелы, второй и вечный Дионис».

— Возвращен наш спаситель! Эвоэ, Дионис!

«Внимайте все! Смысл жизни вашей услышите в песне моей».

«О люди, о кровь от крови Титанов! И вы не знали, что два естества враждуют в оболочке ваших тел? От Титанов все раз'единяющее, все обособляющее. От них рождения и смерти, от них помпезный круг бытия. Но и Дионис в вас, в вас расплывенные части первожденного искупителя. Он жаждет воссоединиться из расплывения в ту прежнюю единую, великую суть».

«Слышите вы, люди, этот зов? Я его слышу! Это — зов второго Диониса, сына фиванской царевны, наследника сердца первожденного искупителя. Соборуйтесь, соборуйтесь, люди! Соединяйтесь из расплывения и друг с другом, и со мной, воссоздадим единую

суть первозданного Диониса. Тогда будет разорван томительный круг рождений и смертей, тогда наступит вечное блаженство неразделенного бытия.

«Соборуйтесь, соборуйтесь, люди! Вкусите блаженство слиянного, внетелесного бытия! Дионис вас зовет в свои таинства, он даст вам предвкусить в ночи восторгов блаженство новой вечной сути, ожидающее души посвященных за пределами смерти».

Пророк умолк. Молчала и толпа, очарованная его песнью; но молчание это продолжалось недолго. Загудели тимпаны, зазвенели кимвалы. «В хороводы! В хороводы!» И гора затряслась от безумной пляски. Замелькали перед взором юноши белые руки, замелькали румяные, разгоревшиеся лица: вакханты, вакханки — особенно вакханки. И эти руки он дружелюбно пожимал, и эти лица ему приветливо улыбались — все составляли как бы одну семью братьев и сестер. Слышались и речи; он их не понимал, но и речи были приветливые, радостные.

Впрочем и не хотелось понимать; главное, — это пляска, восторженная, исступленная пляска. Он не чувствовал ног своих: всем своим естеством он отдавался этому безумящему, всепокрушающему вихрю пляски. Он и наслаждался, и ждал еще больших наслаждений — ждал чудес слиянного, внетелесного бытия.

И вдруг — резкие, враждебные крики. Что это? Понять нельзя было; но что то чуждое впоглось, разрушило единое восторженное настроение. А, вот они: толпа поселян, вооруженных бичами и палицами; они врезались в толпу вакханок, хватают их. Те отбиваются, вырываются. Впереди нападающих какой то великан с огромными, уже седеющими усами. Это его, конечно, зовут: «Адосф! Адосф!»

Адосф! При этом имени что то поднимается из самых запаенных недр души нашего юноши, что то страшное, багровое. Он смотрит на него: кто перед

ним? Фракийский поселянин? Нет! О, теперь он уже сам чувствует, хотя и не отдает себе отчета, в этих оргиях Диониса все кажется испугленному огромным. Это Титан! Титан! А, это ты посягнул на царственного младенца? Месть! Месть! Месть за Диониса! Что это с ним? О да, он теперь понимает: из всех страстей жажда мести — самая страшная.

Адосф! Адосф! Вот он, Титан: подбегает, поднимает палицу. Еще мгновение — и ея тяжелый, обитый железом наконечник разожжет ему голову. Но юноша не ждет. Одно мгновение — и вырванная у великана палица летит далеко в чащу леса; одно мгновение — и он сам падает навзнич; одно мгновение — и грозная голова усача, крутясь и брызгая кровью вокруг себя, глухо ударяется о соседнюю скалу...

Поселяне бегут, вакханты и вакханки за ними. Эвоэ! Эвоэ! И опять тимпаны, опять кимвалы. Юноша побежал было и сам, но ноги отказываются служить. Он чувствует внезапное упомление — и чувствует еще нечто, нечто гложущее, сверлящее, мучительное. Он падает на землю, плачет.

Эвоэ! Эвоэ! эти звуки еще слышатся, но издали; они замирают в ночном воздухе. И ветра более нет, нет зверей, нет птиц, все молчит. — Молчит? Нет: тут же над ним какая то песня раздается. Песня соловья. Такая жалобная, раздражающая. Пой, птишка, пой, родная! Ах, понять бы только, что ты мне хочешь сказать!







VIII

В следующую ночь — то же. Никто не сговаривался, никто не распоряжался; но это был настоящий поход. Исступленная дружина сбегала с Пангея в долину, переплыла через Стримон, направилась по равнинам Македонии к голубым пиерийским горам. Кое кто отставал, кое кто возвращался, за то приспавали другие поселяне, а больше поселянки деревень, через которые лежал путь испуганных. Вихрем мчались они через них; кто не успевал спрятаться, тот был увлечен. Жены бросали мужей, матери — детей; «в горы! в горы!» — нельзя было сопротивляться этому зову.

Вот уже и блаженная Пиерия; Олимп оглашается восторгом ночных хороводов. Наш юноша везде впереди. Кровавая ночь на Пангее забыта; без крови не обходится и здесь; нападающих везде много. Вот уже и Олимп покинут: Пеней пройден, зеленая Осса дает приют дружине Диониса. Слышится уже греческая речь; семья вакхантов делится своими переживаниями с юношей. Он слышит ее рассказы, и грустно ему становится. Не он ли пляшет испуганнее всех? Но как ни просит душа чудес внетелесного бытия — не дает их бог. Чего то всегда не хватает до полноты мига, до окривления души.

— Что же нужно? — спрашивает он счастливых товарищей. — Что же еще нужно?

— Нужна страсть, — отвечают ему; — нужна страсть выше страстей.

Что то дрогнуло в его сердце. Выше страстей? Кто то когда то ему пел про счастливую жизнь ниже страстей; это было так давно!

— Но ведь я же ее познал! — с жаром ответил юноша. Я отомстил обидчику своего детства — страшно отомстил. Это ли не страсть выше страстей — опьянение мести?»

— Для одних — да, для других — нет, мой друг. Ты, знаешь, не из тех. Жди, пока тебя призовет бог, если он вообще тебя призовет. Недаром, ведь, у нас слово говорится: Много у нас пирсоносцев повсюду, но мало вакхантов.

За Оссой — Оэрис; за Оэрисом — Парнасс; за Парнассом — Геликон; чуда нет и нет.

Вихрем промчалась дружина исступленных через Фивы; многие путь присоединились к ней — Фивы ведь были родиной Диониса. «А куда теперь? Куда теперь?»

«На Киферон! Там нас уже ждут: наши предтечи уже созвали вакханок». — «Откуда?» — «Из Афин».

И вот они наконец — таинственные ущелия и поляны Киферона. О, это уже не то: наш юноша чувствовал — это нечто свое, родное. О сладкие звуки аппической речи! С какой силой нахлынули они на его душу!

Гудят пимпаньы, звенят кимвалы, мелькают руки, мелькают лица — новые лица, но они знакомее старых. И глядят они по другому, и улыбаются по другому. И сам он стал другим. Нарастает восторг, нарастает. Мимо, взоры, мимо, улыбки! Все приветливый, но где та, что всех приветливее? Нарастает восторг, кипит божья сила; теперь, теперь не обмани, золотая надежда! Мимо, руки, мимо, лица! — А! Вы ли это, черные глаза, вы ли это, развевающиеся в ночном ветре, черные кудри?

— Это ты, Метиона?

— Это ты, Кекроп?

В хороводы! В хороводы! Она с ним — и нет на всем Кифероне ничего, кроме нее. «В горы, в горы!». Где ты, гора? Ты ли это — там, глубоко, озаренная этими светлыми точками? Все дальше и дальше эти точки — вот и совсем исчезли. Чу, какой то шум, сначала отдаленный, затем все ближе и ближе. Это волны морские с глухим рокотом друг о друга разбиваются. Оно под нами, это волнующееся море: видишь, как оно пенится при свете луны. Пой, Метиона! Нельзя не петь в такую ночь. Пусть наши песни сольются — наши души слились уже давно. Наши души! Но ведь они в этом теплом, душистом ночном вечерке, как в другой, всеобъемлющей душе. Ты знаешь, Метиона? Он мне давно про тебя напевал этот теплый, душистый вечер; он мне твою душу приносил, а я этого не знал.

Наши души? Да мы не одни. Смотри, отовсюду слетаются к нам блаженные. Как бы не потерять себя в их воздушном хороводе!.. Ну что ж, хотя бы и потерять себя. Ах, Метиона! Как я ждал этого чуда! И вот оно свершилось... свершила его — страсть выше страстей. Ты знаешь, как ее зовут — знаешь, Метиона?

Потеряем себя! Пусть во всем будем мы — и в нас будет все.





Скажи, чужеземец, как зовут этот грозный город, что висится на этом холме?

— Как, гость, ты не знаешь стен Алкафоя?

Благодари Аполлона, приведшего тебя сюда: перед тобой благозаконный город, славная Мегара. Вы оба будете в нем в безопасности — и ты, и твоя жена.

— Вижу, чужеземец, что и ты — мегарский гражданин. Скажи же, как зовут вашего царя?

— Наш царь — Пилас, правнук Посидона; если ты имеешь дело к нему — я его вестник и могу тебе послужить.

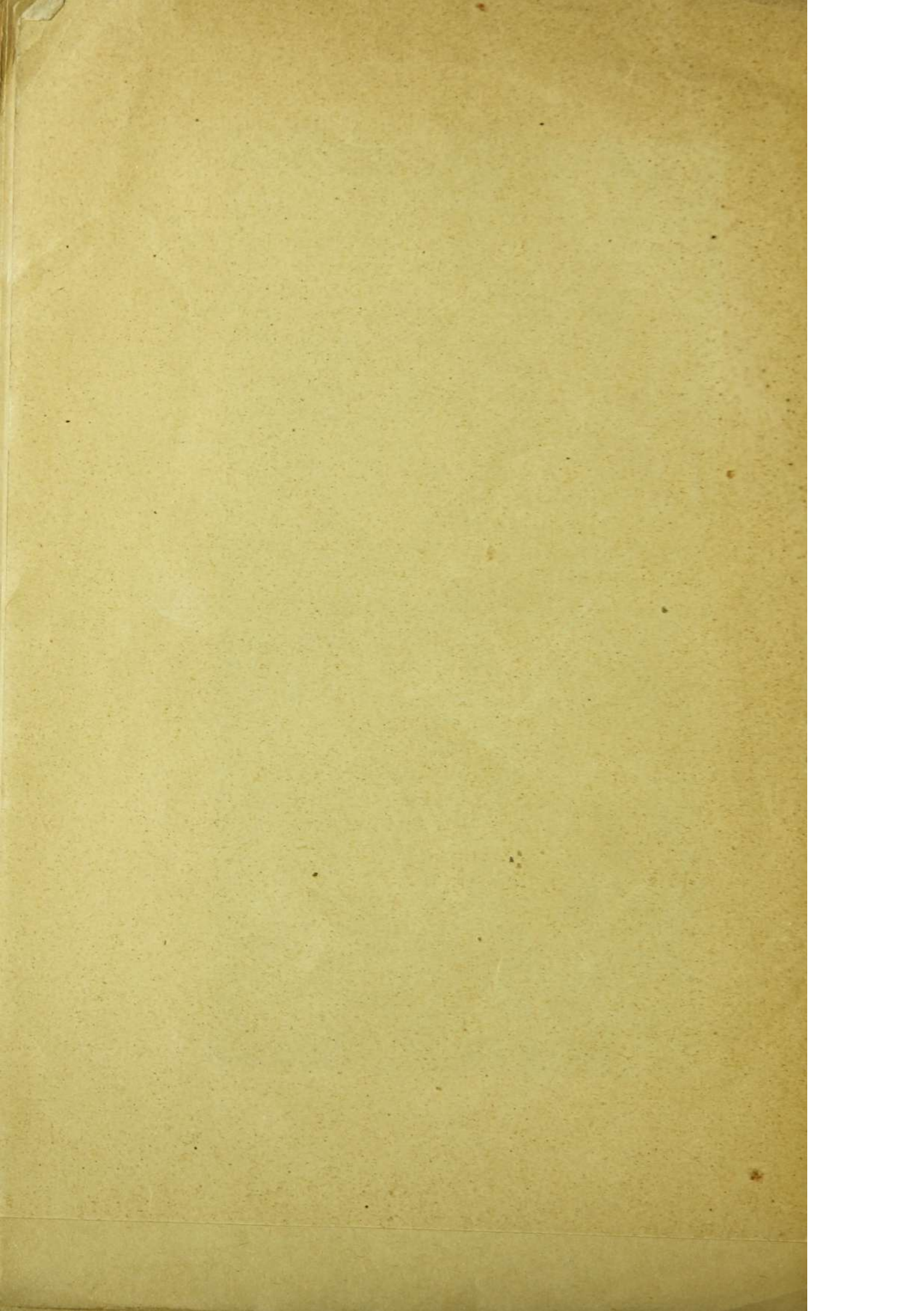
— Скажи же ему, что к нему обращается Кекроп, сын афинского царя Эрефея, с женою своею Метипою. Мы были на Кифероне с вакханками и спустились, сами того не зная, в его страну.

Вестник удивленно покачал головой. Все же он исполнил просьбу странника.

Неласково принял гостей царь Пилас. Но его недоверие не устояло против очевидной искренности и правдивости рассказа юноши о своем детстве, своем похищении и своей жизни на Пангее.

— Я верю тебе, гость, — сказал он, когда тот умолк; — но положение мое затруднительно. Афинами управляет Ксус, муж царицы Креусы. Понимаю, что твои права на афинский престол более законны, чем права пришельца; но пойми и ты, что я не желал бы испортить своих добрососедских отношений к Афинам и их царю.





— Будь и впредь другом и союзником моей родины, почтенный царь. Я покорен воле бессмертных и не буду вырывать власти у моей сестры. Пусть она царствует благополучно и никогда не узнает, что ее брат еще жив, и пусть братья Метионы считают погибшей среди вакханок свою сестру. Нам же дай убежище в своей стране—какойнибудь клочок земли на горе Геранее, откуда мы могли бы видеть и благословлять страну Паллады.

Лицо Пиласа окончательно прояснилось. Но Кекроп продолжал.

— Сыну Эрехею непристойно просить милости; у меня есть чем заплатить за землю — вот он, клад с горы Пангея.

Он отвязал свою кошню — и поток восточного золота полился перед взорами Пиласа. Золотые деньги были тогда редкостью в Элладе; и как ни был справедлив мегарский царь, но и его глаза разгорелись при их виде.

— Вижу,—сказал он,—что Гермес милостив к тебе; тем дороже будешь ты нам. Желание твое будет исполнено, но не поселенцем, а гражданином должен ты жить в городе Аполлона. И да будет твой приход на счастье нам обоим!

Вскоре хутор на Геранее принял Кекропа с Метионией: началась для них живая, трудовая жизнь. Но еще некто поселился с ними. И когда они, после дневного труда, отдыхали под тенью тополя в своем нагорном саду, и их взоры гуляли по холмам дорогой, запретной родины—в листве тополя раздавалась неумолчная, то жалобная, то радостная песня соловья. И задумчивое лицо Кекропа становилось еще задумчивее.

— О чем ты думаешь?—спросила его однажды Метиона.

— О том, что мы с ней знаем, — ответил он, покаяваясь на певичу — о моем пихом детстве в ущелье Пангея.

— И ты поскуешь по нем?

— Нет. Я испытал блаженство жизни ниже страстей — и испытал восторги страсти над страстями. Но боги назначили нам человеческую долю — будем же покорны богам!



ИЗДАТЕЛЬСТВО
М. и С. САБАШНИКОВЫХ

В ПЕТЕРБУРГЕ.

Печатаются и готовятся к печати следующие труды Ф. Ф. Зелинского:

И Р Е С И О Н А

(АТТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ)

КУБОК ОБИДЫ
ТЕРЕМ ЗАРИ
ЗАКЛЯТЫЙ ДВОР
СОЛОВЬИНЫЕ ПЕСНИ
ДОМ НА ЮРУ

МУДРОСТЬ ДЕДАЛА
ЦАРИЦА ВЬЮГ
ТИРРЕНСКИЙ ПЛЕННИК
КАМЕННАЯ НИВА
ДОЧЬ НЕМЕЗИДЫ

АНТИЧНЫЙ МИР

Том I. ЭЛЛАДА

Часть I
СКАЗОЧНАЯ ДРЕВНОСТЬ

Часть II
НЕЗАВИСИМАЯ ЭЛЛАДА

Том II. РИМ

Часть I
РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть II
ВСЕЛЕНСКАЯ ИМПЕРИЯ

ЕВРИПИД. Драмы

Том III (Перевод И. Ф. Анненского):

ИФИГЕНИЯ АВЛИДСКАЯ • ИФИГЕНИЯ ТАВРИЧЕСКАЯ
ИОН • КИКЛОП

Том VI. ОТРЫВКИ (Перевод Ф. Ф. Зелинского):

1. ЦИКЛ АРГОНАВТОВ
2. АРГОССКИЙ ЦИКЛ
3. ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ

4. ТРОЯНСКИЙ ЦИКЛ
5. АТТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
6. ИЗ РАЗНЫХ ЦИКЛОВ





